

Александр БАЛТИН

РУССКИЙ ПАНТЕОН

Штрихи к литературному портрету России

ЛИРНАЯ ЗАРЯ

Эссеистический триптих

I. МЕДНЫЙ ВЕК РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

1

Боярского княжеского рода — того, что претендовал на происхождение от византийских императоров, — Кантемир получил изошрённое, блестящее домашнее образование, и отец, которого он потерял рано, отказывая своё состояние тому из сыновей, кто проявит к наукам наибольшее расположение, имел в виду именно Антиоха.

Уехав за границу, Кантемир во внутренней российской жизни участия более не принимал, может быть, ему хватило событий, приведших к воцарению Анны Иоанновны, в которых он участвовал избыточно...

От могилы его ничего не осталось: разрушение соборов и монастырей было заурядным в советской империи, устанавливавшей собственный культ.

Первый сатирик, Кантемир чувствовал изъяны человеческой породы и любого общества с тою безжалостностью, которая позволяла находить словесную форму, наиболее ёмкую для их изображения: хотя сегодня требуется изрядный труд для чтения подобных виршей.

Когда-то сверкали, играли драгоценными созвучьями, чтобы потом казаться непроторными, очень тяжёлыми, если не обветшавшими.

Нужно делать скидку на огромный временной пласт, отделяющий нас от Кантемира, и не предаваться иллюзии вечности слова: сохраняясь, как зыбкий памятник, оно меняется настолько, что чтение столь древних авторов может иметь только ознакомительную функцию, на уровне эстетическом и смысловом едва ли кого-то сейчас в чём-то убеждая.

Тем не менее, жизнь и литературная деятельность Кантемира — блестящий пример цельности, внутренней силы и той сосредоточенности на главном, какая и позволяет, при столь краткой жизни, высказаться полно.

2

Ломоносов, чья жизнь сплошное преодоление, помноженное на прорыв, сделал, вероятно, первую попытку обмирщения книжной, высокой речи, речи, вскормленной классицизмом:

*Неправо о вещах те думают, Шувалов,
Которые Стекло чтут ниже Минералов...*

Но обмирщение подобного рода не есть путь вниз — напротив: за оной попыткой стоит совсем иное видение реальности; подобно тому как заглавные буквы в словах «стекло» и «минералов» свидетельствуют о высоком почтении, какое выказывает поэт и учёный нормам и суги вещества, столь необходимого в жизни...

Словесная живопись высокой степени выразительности присуща многим произведениям Ломоносова, и самая тяжесть их, плотность и вещность, точно есть следствие неустанно бушевавшей в сознании его поэтической стихии, выплёскивающей могучие краски на холст бумаги:

*Царей и царств земных отрада,
Возлюбленная тишина,
Блаженство сел, градов ограда,
Коль ты полезна и красна!
Вокруг тебя цветы пестреют
И класы на полях желтеют;
Сокровищ полны корабли
Дерзают в море за тобою;
Ты сыплешь щедрою рукою
Свое богатство по земли.*

Мера искусственности, которая слышится сейчас в стихах Ломоносова, как и в любых стихах восемнадцатого века, преодолима за счёт осознания временных пределов, в которые вписаны оные сочинения: вписаны с тем, чтобы проложить мостки будущему, каковое будет распорядиться языком совершенно иначе.

Ломоносов, ответствующий Анакреону; Ломоносов, могущий петь о любви, но:

*Героев славою вечной
Я больше восхищен.*

Ибо сам Ломоносов — герой, прободающий пространство ради победы света; ибо он — несущий факел во тьму, любезную большинству; ибо поэтическая речь его — сгусток сил и таланта, мускульно поднимающего своё время, чтобы приблизить его к поткам...

Ломоносов — игривый в речи, ловко воспевающий бороду, славное струенье волос:

*Борода предорогая!
Жаль, что ты не крещена
И что тела часть срамная
Тем тебе предпочтена.*

Ломоносов, щедро раздаривавший впечатанные в него многие дары, дабы в мире увеличивалось количество света и уменьшался процент несправедливости...

3

Вектор энергии Тредьяковского требовал обновления поэзии, всего её состава, самой сути: но ориентация на классицизм — с его незыблемыми принципами — не позволяла отступать в мирскую стихию языка.

Всё должно быть возвышенно.

По крайней мере — высоко.

Стихи должны звенеть, ложиться на медные доски вечности, избегая тления, и даже: «Здравствуйте, женившись, дурак и дура», — писанные с забористым перцем, дьявольщиной, собачьим сердцем, хранят в себе начинку высокого стиля.

Он не соответствовал живому языку, оттого и гудит непроворотно, будто даже скрипит.

Ничего не поделать — язык развивается вовсе не при дворце, и то, что высокими его плодами могли пользоваться тогда лишь немногие, не помогало пииту.

Живые ручьи иногда блистали внутри тяжёлых построений Тредьяковского:

*Виват Россия! виват драгая!
Виват надежда! виват благая!*

Звучит и сегодня: звонко, ярко, возвышает дух, наполняет хорошей гордостью и — точно открывает ретроспекцию, уходящую очень далеко: туда, где жизнь Василья Кирилловича Тредьяковского бушевала и разливалась, казнила его и возносила, миловала и лупила — через судьбу — палками по голове.

Но играл Тредьяковский значительную роль — играл всерьёз, смертельно: мостил дорогу будущему обмирщению языка, в пределах которого будут созданы незыблемые шедевры.

Ничто и никогда не лишило его дара: растущего и мужающего, подкреплённого неустанными занятиями, изучением языков, умноженного на странствия, раскрывавшие миры других пространств.

Басни расцветут: тяжеловесные, приподнятые, важные, точно в напудренных париках, и вместе: сверкающие гирляндами смехами.

«Ворон и Лисица», «Леший и мужик»...

Вечность Эзопа дохнёт в лицо.

Взыграют оды:

*О! не ярости во время,
Господи, мя обличи;
Зол же всех за тяжко бремя
И за многое тех племя
В казнь не в гневе повлачи.*

Загудят — и вместе струнные переборы дадут; хотя, вероятно, орган пришёлся бы в пору Василью Кириллычу: он мечтал о мощном звуке, о полифонии звуко-смысла, о величии подлинном: возвышающем величии стихов.

...а как разойдётся — уже совсем другим языком «Приветствие, сказанное на шутовской свадьбе»!

Полыхнёт оскал шутовства, запляшут, заболбочат несчастные карлы, и выдохнет... не более счастливый Тредиаковский:

*Здравствуйте, женившись, дурак и дура,
Еще и <блядочка> дочка, тотта и фигура!
Теперь-то прямо время вам повеселиться,
Теперь-то всячески поезжанам должно беситься:
Кваснин дурак и Буженинова <блядка>
Сошлись любовно, но любовь их гадка.*

Эх, с перцем, с собачьим сердцем, с адскою силой — а: на века...

Века вобрали опыт Тредиаковского.

Вряд ли сейчас можно испытывать сильное эстетическое удовольствие от его стихов, но высятся они причудливыми колоннами, прорывом в небо, и никто, желающий знать тайны русской поэзии, не обойдёт их...

4

Громокипяще и медносверкающе извергся Державин в данность, созидавая стихи твёрдые, как камни, и сверкающие гранями, что алмазы.

Громогласно заявил:

*Се слово мне гремит предвечно:
Жив Бог — жива душа твоя!*

Ибо исследование жизни души — истинно поэтическое дело, или — самая важная составляющая из всей суммы поэтической необходимости.

Ибо стихи необходимы в мире, чтобы не окоснел в броне сует и выгод, чёрствости и безвкусицы.

К Богу, даровавшему возможность писать — помимо возможности жить: в чём, очевидно, Державин не сомневался, — поэт мог обратиться напрямую, замирая восхищённо в недрах сквозящей жизненной тишины и всего величественного, что простирается повсюду.

*Измерить океан глубокий,
Сочесть пески, лучи планет
Хотя и мог бы ум высокий, —
Тебе числа и меры нет!*

И Ньютон так верил, и Коперник, хотя их поэзия другого рода: проникновение в тайны, но не описание следствий их.

Ибо мир зримый есть следствие глобальных тайн, сокрытых от умопостижения причин, корней, залегающих так глубоко, что никакой рассудок не в силах постичь.

Державин полнозвучно избыточен, и хоть обмолвился где-то Пушкин, что стихи его напоминают тяжеловесные переводы блистательного оригинала, думается, именно державинский звук можно проследить в дальнейших лабиринтах русской поэзии: Тютчев, Некрасов, Маяковский — от него брали свои ноты, обогащая их собою.

Шикарно блестящий драгоценностями «Водопад» продолжает своё извержение в поэзию двадцатого века: Цветаева именовала Мандельштама «молодой Державин», и сама брала от певца Фелицы многое.

Державин фривольный, игривый, жизнелюбивый — разный, как радуга; щедрый, как ливень; сложный, как сама жизнь...

И «Грифельная ода» верна лишь отчасти: ведь жив блистательный Гавриила Романович, жив, несмотря на «жерло времени»...

5

Капнист зазвучал уже легко, с блеском, точно опровергая ямбы и зарывая определённые ямы века своего; он раскрывался посланиями — Батюшкову, к примеру, — где искры словесных граней переливались то иронией, то глубиной смысла; то сострадал красоте, которой не находится места в мире:

*Увы! что в мире красота? —
Воздушный огонь, в ночи светящий,
Приятна сердцу сна мечта,
Луч солнечный, в росе блестящий.*

*Мгновенье — нет Авроры слез,
Мгновенье — льстить мечта престала,
Мгновенье — метеор исчез,
Мгновенье — и краса увяла!*

И среди многих общепозитичностей ярко выхлестывал собственную индивидуальность, словно драгоценную жидкость, что не удержать в сосуде своём.

Пел природу, дружбу... всё, что полагается: но песни были своеобразны, отличаясь определёнными нотами, что и позволило им остаться...

...параллельно ему длились басенные свитки Хемницера: звонкие, сложные, умные.

*Всё надобно стараться
С погребной стороны за дело приниматься;
А если иначе, все будет без пути.*

*Хозяин некакий стал лестницу мест;
Да начал, не умея взяться,
С ступеней нижних мечь. Хоть с нижней сор сметет,
А с верхней сор опять на нижнюю спадет.
«Не бестолков ли ты? — ему тут говорили,
Которые при этом были. —
Кто снизу лестницу метет?»*

Лестница — глобальный символ, и очевиден факт, что низ её всегда не слишком интересен, когда не чреват — в метафизическом смысле: навечно застрянешь внизу.

Что ж?

Ритмический рисунок не из Хемницера ли черпал Крылов, гений русской басни? Крылов, снабдивший русский мир столькими роскошными афоризмами, что и повторяющие подчас не ведают автора?

Мощно звучит Хемницер — устаревше, обветшало...

(Интересно, как через пару сотен лет будет восприниматься сегодняшний язык?)

Но — будто странные серебряные нити соединяют двух поэтов — Капниста и Хемницера, словно тайное родство чувствуется, разлитое в составе их произведений, а как объяснить его?

Впрочем, стоит ли?

Достаточно ощущенья.

6

Индивидуальность в поэзии определяет почти всё: как в любом из творческих миров, вероятно; индивидуальность бывает того рода, когда проявляется на уровне стихотворения, но не уровне неповторимого голоса, и больше дана через запоминаемость стиха, нежели чем через узнаваемость всего поэтического ряда...

Но — и индивидуальность может быть напоена таким низовым разгулом, что цена её снижается: Барков тому примером.

Он уникален — в середине восемнадцатого века писал языком середины века девятнадцатого, опережая на столетие развитие родной речи.

Он уникален — тем, что, практически минуя бездны, каковые призвана освещать поэзия, полностью отдался срамной, озорной, низовой, карнавальной стихии, воплощая в стихах, звонко и весело, её бурление...

Он мог бы, используя те нормы языка, какие создал сам для себя, опережая время, создавать шедевры величавого метафизического и великолепного поэтического звучания, но... остановился на срамных одах, став притчей во языцех...

Впрочем, звёздная пыль, блещущая в недрах похабных виршей, всё равно переливается чудесно, ибо всегда мы, даже изрядно меняясь с веками, остаёмся людьми...

7

Разворачивается эпос «Россиады», звучат эпические накаты, железно идут ряды шестистопного ямба; сияют колонны классицизма.

Помпезно, приподнято, никаких срывов — они чреватые, ибо поэзия должна быть высока.

Так высока, что тянуться к вершинам надобно всей душою, всюю интеллектуальной силой.

Завоевание Иваном IV Казани Херасков считал датой окончательного освобождения России от треклятого ига; но элемент чудесного, весьма значительный в поэме, не соответствует правилам Буало: тут нет античных богов и героев, но действует сам Бог, православные святые, Магомет...

...персидский чародей Нигрин, несомый драконами, и глядящие отовсюду лица аллегорий: столь же очевидные, сколь и завуалированные обилием словес.

Их чрезмерно — они приподняты, они отличаются торжественной важностью; но в «Россиаде» много пластов: и масонское видение правды жизни вполне совмещается с православным взглядом на мир; а библейские реминисценции, облечённые в одежды классицизма, красивы...

Хераскова именовали русским Гомером; поэма была благосклонно встречена соотечественниками, и гимназисты долгое время (вероятно, страдая) заучивали вступленье наизусть.

Трагедия «Венецианская монахиня», сделавшая Хераскова знаменитым, и государственные дела; циркуль масонства и — куратор университета: жизнь Хераскова избивна, когда не избыточна во многих моментах своих; и то, что громокипящие его, тяжелостопные вирши, в том числе и составившие первый русский эпос, едва ли сегодня могут восприниматься иначе как ветхие памятники, — не очень важно, пожалуй...

8

...эпистолы, сатиры, элегии, песни, эпиграммы, мадригалы, эпитафии...

Оды.

Сумароков писал всё, был всеобъемлющ, обладал жанровым фундаментализмом; он использовал все существовавшие тогда размеры и экспериментировал в области рифмы и создал орнаменты разнообразных строфических построений.

Изначально следуя принципам поэтической реформы Тредиаковского, он заинтересовался ломоносовской силлабо-тонической системой и довольно быстро политизировал свою поэзию, давая советы Елизавете Петровне от имени российского дворянства.

Сумароков узнал взлёты и падения, амплитуда его судьбы, включавшая зигзагообразное движение, приводила к эпосу; но гекзаметры «Телемахиды» не обрели успеха...

Песни, басни и пародии — как линии, определяющие временную сохранность наследия Сумарокова; и жанры эти он, по сути, заново создал в русской литературе.

«Узаконение» песни в жанровой системе русской лирики было квантом творческого мужества Сумарокова; тем, что определило краткость и мелодию данного словесного движения...

Космос Сумароков поражал универсализмом: использовать всё, чтобы создать свой, неповторимый, овеянным индивидуальным ароматом космос, — вот дело сильного, высокоштильного, ярого, блестящего, тяжелочитаемого ныне Сумарокова.

9

Воспринимаемое ныне архаикой звучало некогда высоко и набатно: классицизм предполагал громкогласие, приподнятость, точный баланс высокого и низкого; и Иван Пнин, созидавая стихи, учитывал бездны, раскрывавшиеся в самых возможностях стихосложения:

*Систему мира созерцаю,
Дивлюсь строению ея:
Дивлюсь, как солнце, век сияя,
Не истошается, горя.
В венце, слиянном из огней,
Мрачит мой слабый свет очей.*

*Но кто поставил оком миру
Сей океан красот и благ?*

*Кто на него надел порфиру
В толико пламенных лучах?
Теченьем правит кто планет?
Кто дал луне сребристый цвет?*

Система мира, взятая как будто из научного обихода, точно зажигает первую строку, делая её столь же полнообъёмной, сколь и красивой; и, разумеется, стихотворение, наименованное «Бог», должно возноситься скалами твёрдости и...сияний...

Стихи тяжелы... но и глубоки; упоминаемый океан точно разверзается суммой русских словес, поставленных на места, с которых уже едва ль низвергнуть.

...в 15 лет Иван Пнин, внебрачный сын маршала Репнина, получивший усечённую фамилию, написал первую оду; за ней последовали другие.

Разворачивая панораму стихов — за одами высветились лирические стихотворения, заиграли басни, — поэт стремился воспеть нравственную природу человека: поражающую его своим законом, как Канта; но — исходя из оной же — он протестовал против унижений, насилия, рабства.

Мысль работала в произведениях Пнина: тяжело ворочая камни, ибо осмыслению подвергались самые сложные участки бытия:

*Тот ныне царь — вселенной правит,
Велит себя как бога чтить;
Другой днесь раб его — и ставит
Законом власть боготворить,
Ударит час — и царь вселенной
Падет, равно как раб презренный,
Оставляя скипетр, трон, венец...
И, наконец,
Всё преимущество царя перед рабом
В том будет состоять,
Что станет гроб в стократ богатый заражать.*

Время, закипающее в недрах иных, непроворотных созвучий, свидетельство за поэта: он был: его стоит перечитать, вслушаться в имена слов, которые он произносил, прочувствовать одическую силу; его стоит перечитать — ни в коей мере не сбрасывая с гамбургских счетов истории отечественной словесности.

10

Шёл и шёл, пейзаж менялся; шёл и пел, и песни предполагали божественный сад, и мир, закидывая тонко сплетённые сети, не поймал его...

*Не наше то уже, что прошло мимо нас,
Не наше то, что породит будуща пора,
Днешний день только наш, а не утренний час.
Не знаем, что принесет вечерняя заря.*

Тяжело ли звучат ныне песни Григория Сковороды?

Конечно — язык сильно меняется.

Способно ли время вымыть из них внутреннюю суть, размягчить, сделать не солёною соль?

Ни в коей мере...

Мудрость одиночества наполняет и стихи, и песни, и басни:

*Не будет сыт плотским дух.
Всякому сердцу своя любовь!*

Множественность проведённого через тончайшие ощущения ложится золотыми нитями в пространные вести вечности...

Концентрация, данная в иных строках, велика, как отсвет духовного океана...

...он шёл и шёл: философ, поэт, баснописец, педагог; своеобразный дервиш восточнославянского духа; сады цвели, имения манили, золотой блеск пресловутых кругляшей был привлекателен для всех, но не для него...

Он шёл сквозь сети, сплетаемые соблазнами, и разрывал их силой духа для дальнейшего пути...

*Завоюй земной весь шар,
Будь народам многим царь,
Что тебе то помогает,
Если внутри душа рыдает?*

Его душа была, вероятно, преисполнена такой гармонии, о которой немногие имеют хотя бы представление.

И — Сковорода мог прозревать духовные пещеры: с их причудливою светотенью, игрою оттенков, тайными созвучиями всем сокровенных; он мог их зреть, прекрасно ведая, что подлинная жизнь — это жизнь духа...

11

Ядро века просвещения — благородство мысли, чья энергия должна быть настолько сильна, чтобы преобразовывать мир.

Михаил Чулков происходил из семьи солдата московского гарнизона, обучался в разночинском отделении гимназии при университете, затем слушал лекции в нём же; а придворную карьеру начал лакеем, очевидно не имея в душе ничего лакейского...

Публиковаться он начинает с рассказов, выпускает их четыре сборника, и они, наполненные и патриотизмом, и здоровым смехом, своеобразно показывают тогдашнюю жизнь: кругло катятся её яблоки, тяжело пашется земля...

Но вот в рассказе «Горькая участь» впервые проступает детективный сюжет, идёт расследование убийства, русская литература обогащается новыми возможностями.

Единственный русский плутовской роман «Пригожая повариха...» написан именно Чулковым, и брызги забавных приключений долетают и в наши дни...

Энергия Чулкова велика, а мозг требует глобальности: он занимается издательской деятельностью, затем выпускает «Краткий мифологический лексикон», где объясняет происхождение имён и легенд; он сотрудничает с Николаем Новиковым, вводя в реальность собрания разных песен...

Он тяготеет, в сумме, к большим историческим осмыслениям; он создаёт «Историческое описание российской коммерции», и несть числа документам, пересмотренным, переработанным, скопированным, чтобы книга плотно и полно отобразила эту сторону бытия.

Разностороннее восприятие жизни и ум, впитывающий всевозможные знания, позволяют создать и «Словарь русских суеверий», и лечебник, призванный помогать крестьянам, лишённым всякой медицинской помощи.

Просвещение!

Сила и лозунг жизни Михаила Чулкова, жизни, исполненной столькими различными деяниями, что не верится, будто она принадлежала одному человеку.

12

Есть некоторая заманчивость в мерцании древних словес классицизма: таких тяжёлых, таких крутых, столь крупных: кажется, вес слов был иным: можно взять в руку, поднять, ощупать...

*Так, Силов! рассвело, воспрянем ото сна,
Нас бодрствовать манит прекрасная весна;
Растворим чувства, способности разбудим
И размысленьем мысль быстрей течь принудим.*

Так пел Василий Петров — и громогласие его бухало в медь времён; и чувства, перехлёстывающие через край произведений, срывались в пределы других миров: нашего, например, о котором старый поэт не имел ни малейшего представления...

В послание Силону вложил все свои размышления, чаянья, думы; соль и перец вспыхивают белым и чёрным и всяческие метаморфозы мира льются и ткутся прихотливо, причудливо...

Чудесный Петров!

Как мощно соплетает он строки, как закручивает орнаменты мысли, внутри которых горит, пламенеет алая правда...

Потом возникают «Должности общежития», в которых излагается кредо поэта: необходимость быть полезным обществу; невозможность праздной жизни:

*Проснись, о смертный человек!
И сделайся полезным свету;
Последуй истины совету:
В беспечности не трать свой век.
Летит не возвращаясь время, —
Спешу пороков свергнуть бремя:
Завтра смерть тебя ссечет,
Во гроб завтра вовлечет.*

Кажется, сам поэт даром не потерял и дня: всё в нём было подчинено единому порыву к свету и справедливости, столь владевшему его поэзией...

13

Невысокого звания, Владимир Лукин был рождён для одолжения — от сердец великодушных; изведал армейскую службу — и неистовый картёжный азарт, круговращение надежд и отчаяний; а литературную деятельность начал под руководством Елагина: снискавшего, составившего себе известность хорошего писателя и переводчика: слог его считали ярким, а самого именовали первым после Ломоносова писателем в прозе.

Лукин начинал, как переводчик: опять же совместно с Елагиным: и популярные некогда «Приключения маркиза Г.» (в шести частях), представляя собою библиографическую и букинистическую редкость, — не представляют литературной.

Иное дело «Мот, любовью исправленный» — оригинальная комедия Лукина, отличающаяся простотой языка и...относительным изяществом исполнения.

Лукин первым выступил против условностей классицизма; о переделках и переводах западных произведений утверждая, что они должны быть очищены от всего, не присущего русскому космосу (естественно, не используя этого слова).

Следовал этому принципу: «Щепетильник» — взятый с французского: раскрывает галерею персонажей, ибо сам Щепетильник торгует безделушками во время маскарада, что позволяет провести перед зрителями ряд лиц, фамилии которых говорят сами за себя: Вздоролубова, Обиралова, Легкомыслова.

Лукин вершил труды по оздоровлению языка, его приближению к реальности: и что сам не свершил великих пьес — было скорее логично, нежели трагично: время не пришло.

14

Первое издание стихотворений Ивана Дмитриева называлось «И мои безделки» — хотя безделками его поэзия вовсе не была...

Переключка с Карамзиным, опубликовавшим «Мои безделки»?

Скромность, обычно не знакомая поэтам?

(Кстати, замечательная буква «ё», которую современный мир взялся третировать, встречается впервые именно в издании стихов Дмитриева...)

...басни Дмитриева — одно из чудеснейших явлений русской поэзии в этом жанре: докрыловского периода.

Лапидарно сжимая строки, отцеживая возможный словесный жир, Дмитриев, казалось, приближался к идеалу: писать белой, крупной солью, давая метафизические образы изрядной густоты и силы:

*Бык с плугом на покой тащился по трудах;
А Муха у него сидела на рогах,
И Муху же они дорогой повстречали.
«Откуда ты, сестра?» — от этой был вопрос.
А та, поднявши нос,
В ответ ей говорит: «Откуда? — мы пахали!»*

*От басни завсегда
Нечаянно дойдешь до были.
Случалось ли подчас вам слышать, господа:
«Мы сбили! Мы решили!»*

Их можно цитировать целиком — басни Дмитриева: они обладают чрезвычайной ёмкостью и золотой структурой смысловосущих конструкций.

Они завораживают и посегодня: мудростью, не так часто встречаемой в нашем мире.

Разумеется, талант поэта не мог быть ограничен только басенным ладом: были популярны его стихотворные сказки; а сила его метафизического голоса наиболее полно прозвучала в одах: «К Волге», «Ермак»...

Тут развернутся стяги классицизма, и тяжеловесность их обещает возвышенность: иначе невозможно...

Однако, думается, вековые перлы в поэтическом своде Дмитриева — именно басни: чудесные, забавные, актуальные всегда: словно идущие параллельно со временем, вечно двигающимся вперёд...

II. ПОЭТ-СОЛНЦЕ

1

Трепещут лепестки на ветру, переливаются прожилками таких известных смыслов: с которыми ничего не сделать, ибо верны:

*Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло:
Всё мгновенно, всё пройдет;
Что пройдет, то будет мило.*

Формула точности, и вместе — лёгкости: необыкновенной, пенной, воздушной. ...на имени Пушкина лежит такое количество глянца и елея — имперского, гимназического, академического, советского, антисоветского, анекдотического, школьного, что, кажется, через все эти слои пробраться к живому слову поэта практически невозможно уже.

Между тем надо просто вслушиваться:

***Буря мглою небо кроет,**
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя...*

И сам напев утишит душевный раздрай, уврачуеет раны, наносимые избыточно технологической современностью...

Мороз не стал менее крепким, а солнце не потускнело: ему-то что до человеческого прогресса?

*Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный —
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!*

Волшебное поэтическое дыхание ощущается через все дебри сложностей, навороченные последующими веками: волшебное дыхание выси, услышанное и почуянное поэтом, перенесённое в человеческую речь...

...возможно, Пушкин сначала видел свои стихи, как композитор видит музыку — суммами красивых цветовых наслоений и узоров: там, в недрах себя, в глубинах, о сущности которых сам не знал: а потом уже проступали слова...

Такие простые, такие знакомые, совершенно особенные, точно наполненные духовным млеком слова, сочетающиеся в строки, знакомые с детства (раньше, по крайней мере), строки, работающие на осветление пространства который век...

...Лев Толстой писал про стихотворение «Воспоминание» — таких много если десять на всех европейских языках написано; а финал его представляется предельно мрачным, донельзя противоречащим и пушкинской лёгкости, и моцартианскому началу:

***И с отращением читая жизнь мою,**
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуясь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.*

Страшное совершенство стихов словно расщепляет сознание читающего: но именно в этом совершенстве и есть световая основа, высота, заставляющая видеть себя под таким неприглядным углом, чтобы меняться...

Едет возок, скрипят полозья:

***Долго ль мне гулять на свете**
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком?*

Почему-то кажется — зимой писалось, можно свериться со справочниками, да стоит ли?

Лучше представлять — возок, синеющие отвалы снежного серебра, маленького человека в тяжёлой шубе, задумавшегося о собственных сроках.

Часто задумывался.

Многажды мелькало в стихах: словно проглядывала жуткая тварь между домашними, привычными мыслями...

...несчастный безумец бежит от грозного всадника, чья медь вовсе не предназначалась для того, чтобы сводить кого-то с ума.

Онегин вглядывается в грядущее, которого — ни понять, ни представить; потом, махнув рукой, уходит в вечность: через массу деталей и подробностей, через пресловутый каталог жизни — уходит, чтобы никогда не умереть; да и друг его — несколько нелепый Ленский — всё жив и жив, пока не застрелит его Евгений...

Образы Германии встают: вездесущий и всезнающий, вечно ироничный Мефистофель, впрочем, обозначенный полупрезрительным — бес — потопит корабль, как и было велено.

Финские камни возникнут.

Жарко коснётся души дыхание Корана, чья кропотливая вязь слишком непривычна европейскому сознанию.

У Пушкина оно мешалось — с русским, с любовью — до страсти — к сказкам, былинам, ко всему, что давал предшествовавший ему русский космос.

Дон Гуан проедет по ночному Мадриду, где кружево арабских кварталов таинственно вдвойне; Дон Гуан, рассчитывающий на приключение, а не на визит Каменного гостя.

Рассчитывал ли Пушкин на долгую жизнь?

Если верить русскому провидцу Даниилу Андрееву, смерть его, убийство, есть следствие чрезвычайного сопротивления демонических сил силам провиденциальным, посланным в русскую реальность поэта...

Цепочка кровавых пятен на снегу, плачущий Данзас...

Много лет прошло: совсем чуть-чуть; жарко дышит анчар, всё отравляя...

Надо просто читать.

2

Коды прозы Пушкина — в поэзии: растёт из неё и строится по своеобразному принципу: будто не фраза, а строка, та же естественность любого поворота, и рифма, мнится, вспыхивает двоением в роскошно отполированном зеркале вечности.

Страшна ли «Пиковая дама»?

В детстве можно испугаться — правда, сегодня вряд ли кто-то будет читать рассказ ребёнку...

Психология даётся своеобразно: тонко просвеченными нитями, намёками: тут ещё нет последовавшего в русской прозе мощного психологического портретирования.

Да в рассказе «Гробовщик» (скажем) оно и невозможно: тут важен сюжет, схема необычности, выход за пределы реальности...

Любовь к отеческим гробам — проступает, искажённая карнавальная стихией.

«Капитанская дочка» разворачивается спокойно: не суля нагромождения, напластования трагедийных ситуаций, и Пугачёв, появляющийся почти в начале, ничем не похож на того, неистового...

Он для Пушкина двойственен: и объект научного исследования, и символ стихии русского бунта: логично избыточного, ибо альфа социальной несправедливости особенно сильно чувствовалась в России.

(Сейчас, впрочем, тоже — хотя декорум сильно изменился).

...снежные, свежие, морозные строки-фразы — даже ежели речь о лете или любимой осени; строки, отливающие мрамором: без его тяжести, белым-белым...

В Тоскане те, кто добывали камень, именовали его мясом: живое мясо земли...

Живой мрамор пушкинских строк, создающих суммарно прозу поэта, сияет, маня, влечёт всё новыми и новыми погружениями в такое знакомое пространство...

3

Борис Годунов раскинет мощно цветочные слои исторического космоса по небу — духа...

Страшный, несчастный Борис, — из недр Шекспировского как будто мира, совершенно русский, растянутый, когда не распяты на крюках грехов, с напозающим ужасом, сминающим все чувства, все возможности дальнейшего бытования...

Сколь возвышен белый стих!

Кажется, и рифмы — лёгкой подруги — более не надобно, мешала бы, отвлекала...

Европейское время растягивалось, как великолепная река, теряя точную атрибутику периодов; впрочем, в противостоянии двух (о котором не подозревает солнечный Моцарт) время конкретно, как донельзя конкретен трактир, и вино — мнится — можно попробовать оценить вкус...

Скупец, спускающийся в подвал, опьяняющий себя сильнее всякого вина: гипноз золота своеобразен, его не истолкуешь так просто, иначе по-другому строилась бы жизнь...

...воздух Украины вполне отвечает европейской старине, поражая такой словесной прозрачностью, что ощущения собственные — спустя два века — уточняются как будто:

Тиха украинская ночь.

*Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы.
Луна спокойно с высоты
Над Белой-Церковью сияет
И пышных гетманов сады
И старый замок озаряет.*

Громоздится восковой череп замка; зреют события, вызревает тугая, полная таинственным соком виноградная гроздь истории...

Пушкин не мыслится вне её: она близка — различная: и Римом, и Византией, и Испанией, и Германией: щедрое сердце поэта вбирает в себя все эпохи, чтобы перевоссоздать их по-русски, приблизить к русской тайне и космосу.

...Пышно говорил Достоевский на открытии памятника: сильно, восторженно; Бунин отвечал на вопрос о Пушкине: не смею я о нём никак думать...

Буйная пестрота цыган; неистовство разрывающих крючьями страстей: но тело-то остаётся — крючья работают метафизические...

Ту цыганщину, которую любил Пушкин, не представить сегодня: и песен таких не уцелело, и накал подобный был бы в диковинку.

Смириться?

Пушкин был против — большую часть огромной, такой короткой жизни.

Он был против до периода:

Отцы пустынноики и жены непорочны.

*Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначала, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.*

Тут уже смирение ощущается: тугими пульсациями, всё более и более важными гордому человеку...

...Ахматова писала о нём легко и таинственно; Цветаева — с волшебным своим жаром-захлёбом-неистовством; Тынянов рассматривал трезво, научно, если и допуская фантазию, то в пределах источниковедения; Даниил Андреев так, как мог бы моряк блуждавшего в темноте корабля отнестись к маяку.

А вот — Пушкин анекдотический — из рассказа Зоценко «В Пушкинские дни» — Пушкин, увиденный сквозь кривые мещанские окуляры, словно ставший забавным, хотя забавны те, кто так видит...

...Руслан вечно несётся на бороде Черномора; а сказки кота отдают извечностью тайны; запутаны многие тропы «Руслана и Людмила», начинены, кажется, содержанием, которое передал молодому поэту таинственный волхв.

Или не было такой встречи?

Разное можно предполагать: храня живого Пушкина — через пуды напластований, через школьную, познанную всеми рутину, храня чудо философского камня его грандиозного наследия.

III. ПОЭТ-ПРОРОК

1

...в сущности, Лермонтов первый, кто продемонстрировал возможности сгущения прозаической фразы, предельно ёмкого её наполнения: не потому ли Чехов, доведший искусство лаконизма до высшей, максимально выразительной точки, так высоко ставил «Тамань»?

Гроздь слов организуют сок смысла.

...Максим Максимыч, фактически не замеченный бывшим другом, вызывает жалость; а какие чувства вызывает более глобальный Печорин?

Скорее негативные: да и мотивы его тотальной разочарованности отдают скорее пресыщенностью, чем глубиной природы...

Однако сгущение фразы до высокой ёмкости, впервые продемонстрированное Лермонтовым, получило вектор дальнейшего развития: и Толстой, и Чехов, даже, думается, в определённом смысле и Платонов — этот беспрецедентный стилист 20 века — черпали отсюда: из лермонтовских бездн...

...поэзия необыкновенного звука, мелодии столь же возвышенной, сколь и питающей душу, творилась Лермонтовым, не способным довольствоваться только видимой реальностью.

Духовные очи позволяли ему видеть голубое сиянье, в котором спит земля — задолго до возможностей космического полёта, предоставившего возможность получить фотографии.

В небесах торжественно и чудно!

Спит земля в сиянье голубом...

Что же мне так больно и так трудно?

Жду ль чего? Жалею ли о чем?

Необыкновенный звук множится на ощущение неба, как дома — неба, сообщающего человеку ту близость, которая должна отменять всякую безнадежность.

Колорит поэзии Лермонтова мрачен: но это не игры в раннюю усталость или следствие избыточного житейского опыта — тут создаётся ощущение всеприсутствия поэта: во многих эпохах, в разных временах...

...точно был свидетелем цивилизации титанов, опалённых божественным огнём, громоздящих гигантские скалы; точно такая прапамять окрашивала множество его произведений...

Но вдруг звучало — «В минуту жизни трудную» — так задушевно, пронзительно, что становилась очевидна надмирная природа поэзии.

Молитвы Лермонтова не уступают — когда не превосходят — церковным: словесное совершенство множится на ощущение великой субстанции жизни, разлитой повсеместно.

Вчитываясь в Лермонтова, непроизвольно ощущаешь мистические струи, омывающие реальность, начинаешь верить, что наш, видимый, мир — только следствие неизвестных миров, равно непостижимых причин.

Космос не может стареть: даже если учесть все изменения, произошедшие в языке; и космос Лермонтова раскрывается вновь и вновь — всякий раз по-новому, любому поколению иначе, и невозможно представить, как будет прочитан поэт ещё через 100 лет... 200...

2

Ах, какой пир!

Тут не горой даже, а глыбами гор, суммами их — как суммами витых и простых, точно никогда не звучавших, переливающихся самоцветами словес поёт лермонтовская поэма.

Торжественный стих, плавный и музыкальный, и словесная живопись, достигающая зримости, отражается в зеркалах вечности, чья великолепная полировка отражает только лучшее.

Печаль любимого опричника заботит великого и страшного царя, словно в палатах становится более тускло, и райские их росписи теряют в своём цвете.

Царю забота о лихом опричнике привычна, как — в силу смены настроений — и кара: кого угодно, за что угодно.

Но Кирибеевич получает дорогие предметы, чтобы смог посвататься к своей зазнобушке.

Посвататься, однако, нельзя, что не останавливает опричника от назойливых ухаживаний; и обвинения, получаемые Алёной Дмитриевной от мужа, несправедливы, как гнев его — не обоснован.

Рассказ жены всё расставляет по местам, и кулачный бой, воспоследующий дальше, словно вынут из времени того...

Сила поэмы вовлекает в иное время, так, будто огромного промежутка не было, будто мы — в сущности, не представляющие психологию тогдашних людей — становимся участниками, свидетелями, персонажами времён, сделавшихся историей.

Слово ярко, слово таково, что будто им расписаны палаты царские, им же организовано всё действие истории, которой не противостоять.

Жалко победителя?

Он с гордостью уходит в смерть, на казнь, показав пример слабым.

Жалко убитого опричника, не совладавшего со страстью?

Ничуть...

Деспотизм царя естественен, хотя свободолюбцу Лермонтову он, очевидно, претит.

И гудит поэма — теми колоколами, что гудели над Москвой, и переливается яхонтами и жемчугами словесного величия, не тускнеющими, вечными.

3

Скалы и ущелья «Мцыри», словесные впадины, вдруг возносящие вверх, и парение, раскрытое над бездной...

«Мцыри» выкроен из материала бунта, как «Демон», но демон опаснее — каверзы его безвестны, как и психология, а «Мцыри» работает с психологией молодого человека, рвущегося к масштабам новой неведомости и светозарному полюсу высоты.

Сам Лермонтов, очевидно обладая развитым внутренним зрением, прозревал области, которые не могли не поражать чистотою сияний, и опускался в такие, от которых цепенела душа.

Всё построено на полюсах: контрасты, определяющие данность, слишком велики, чтобы можно было ими пренебречь.

Формальная церковь, как и официальная церковная догматика, коснеющая всё больше и больше, едва ли могла устроить Лермонтова, в творчестве и жизни которого звучат ноты духовного титана: он ощущал иное устройство мира, слишком отличное от того, что предлагалось церковью.

Соответственно и молодого, истового бунтаря, ставшего героем поэмы, не мог устроить монашеский постриг: слишком формальная сторона дела.

К тому же память о родном Кавказе едкой кислотой жжёт его душу: там иной воздух, там понятие свобода не пустой звук.

Попытка побега, как известно, не удаётся, и герой умирает от тоски.

Исповедь, вылитая в стихи, пульсирующие космосом, рвущиеся жаждой высоты и свободы, и составляют поэму.

Исповедь, звучащая и звучащая, бередящая сердца и души читателей разных поколений; исповедь, исполненная лучащимся стихом, близким к понятию совершенство.

4

Лира Лермонтова, поражающая глубиной звучания; лира, дававшая песни мистической мелодики...

Внутреннее зрение поэта, разрывающее пласты пространства:

В небесах торжественно и чудно!

Спит земля в сиянье голубом...

Увидено задолго до исследований, ставших возможными в иное время, увидено так точно, будто ангелы, услышав подобные мелодии, поднимали поэта к вершинам, открывая ему реальность подлинного знания...

В сущности, Демон ли Демон?

Ничего сатанинского, лютого нет в построенном образе, и через мелодию дивных песен предстаёт он скорее несчастным, действительно — ангелом, утратившим роль...

Или поменявшим её на новую...

Какая удаля звенит в купце Калашникове!

Как бьётся и чеканится стих, точно клинком булатным высеченный на поверхности вечности! О! Она приоткрывается при чтении Лермонтова, она даёт многообразие своих форм и оттенков, перестаёт быть непонятной, серой, равнодушной...

Откуда ещё могут идти «В минуту жизни трудную...», «Выхожу один я на дорогу», «Парус», «Бородино»?

Отточенность каждой строки такая, что будто входят в пазы друг другу: не разъять никак и никогда.

Бунтарский элемент всегда был сильной составляющей души поэта; но и уравновешивался он таким ощущением гармонии, что всякий бунт казался бессмысленным, пустым...

Можно ли стихами врачевать души?

Изменять время?

Казалось бы, читавший Лермонтова должен в корне меняться своим душевным составом, осветляясь, стремясь только к гармонии — во всём, всегда...

К сожалению, иллюзия остаётся иллюзией: поэзия никого не меняет и никому ничего не доказывает.

Что не отменяет её саму — в величайших проявлениях, по крайней мере.

5

Прекрасная звукопись прозы Лермонтова!

Льющиеся, но и чеканные фразы, не уступающие поэтическим строкам; медленное погружение в чудо сказки, разворачивающейся в пространстве, имеющем чёткие приемы и, вместе, уже лишённом их — ибо лёгкое время вечности и всеобщности открывает новые перспективы...

«Ашик-Кериб». Старинная турецкая легенда, услышанная поэтом на Кавказе, где она известна всем; Кавказ, раскрывающий свои природные и фольклорные богатства ссыльному Лермонтову: решительное и роковое «На смерть поэта» не могло пройти даром.

...Богатый, живущий в Тифлисе турецкий купец, обладающий массой золота — но подлинное богатство его: прекрасная дочь Магуль-Мегери.

Бедный странник, влюбляющийся в неё, — слишком бедный, чтобы рассчитывать на что-то взаимное...

Игра на сазе и прославление знаменитых воинов Туркестана — вот занятие бедняка.

...Он говорит с возлюбленной, которая уверена, что отец даст им столько золота, что хватит на двоих; но странник горд — он не хочет поправок в былой бедности; он обещает семь лет ходить по свету, собирая своё богатство...

Хитрый всадник нагоняет его, желая странствовать вместе с ним: однако планы его вовсе не такие — когда Ашик-Кериб бросается в реку, чтобы переплыть её, Куршудбек забирает его одежды, чтобы показать их матери девушки и убедить её в смерти Ашик-Кериба.

...Нечто от легенды об Иосифе Прекрасном звучит в этом фрагменте: не так ли убеждали братья отца в смерти Иосифа, показывая одежды, измазанные кровью животного?

Нечто грозное и провидческое спрятано во многих негативных действиях людских.

Будет счастливым финал повествования, ибо прямо цветущая восточная сказка не должна завершаться чернотой неудачи; будет счастливым — но придётся подождать, пока поющий паше певец, получающий бесконечное золото, вспомнит свою Магуль-Мегери, вспомнит, чтобы соединиться с ней наконец.

...Не сам ли Георгий Победоносец на белом коне переправляет певца в родные места?

Солнце золотится, и в крутых очерках гор есть нечто непримиримое.

Золото застит солнце любви.

Золото топит печи всего негативного в душах.

Много символов в сказке — яркой, как жар-птица.

Лермонтов берёт основу — и наполняет её своим содержанием, чётко разграничивая положительных и отрицательных героев; дарители и помощники, чудеса и приключения мешаются в пёстром калейдоскопе; волшебные звуки музыкальной речи — и цветовое пиршество текста...

Сказка, опубликованная после смерти поэта, начала широкое шествие по миру, играя оттенками, вызывая печаль и радость, слёзы и умиление; сказка, воспевающая то, что должно быть, а то, что есть обратное, — так это дело сиюминутности, а вовсе не вечности.

6

Демон печален — а воспоминания его счастливо мерцают и блистают...
 Ошибся первенец творенья в бунте своём?
 Сожалеет об оном?
 Не есть ли подобный персонаж, избранный в качестве главного, ошибка поэта?
 Стихи, чья плавная музыкальность давно стала чуть ли не эталоном поэзии, опровергают предположение об ошибке классика...
 ...Демона вообще склонны романтизировать люди, разве что Данте один показал правду: слишком страшную, чтобы была привлекательной.
 Но Демон Лермонтова — как будто и не Демон: одинокий поэт или космический вариант Печорина...
 Демон, сам попавший в таинственные сети Кавказа; ковры, роскошно расстеленные, пир, удары в бубен, пение...
 Вино, туго льющееся в чаши.
 И вновь одиночество изгнанника — одиночество поэта, только Демон обладает большими возможностями.
 Суровый колорит поэмы, точно прорезаемый сильными красными вспышками: в том числе страсти.

*И взор его с такой любовью,
 Так грустно на нее смотрел...*

Ведь Демон не может любить никого, кроме себя: на том и держится гордыня!
 А тут...
 И вот последний портрет персонажа, словно опровергающий его демоническую суть:

*То не был ангел-небожитель,
 Ее божественный хранитель:
 Венец из радужных лучей
 Не украшал его кудрей.
 То не был ада дух ужасный,
 Порочный мученик — о нет!
 Он был похож на вечер ясный:
 Ни день, ни ночь — ни мрак, ни свет!..*

Нет у человека достоверных сведений о небесных и адских насельниках; нет, несмотря на целый ряд книг, и никаких достоверных, проверяемых свидетельств о существовании подобных метафизических областей; но кажется, духовные очи Лермонтова разрывали пределы материальной видимости, и то, что представляло запредельному взору поэта, смущало его самого...

Впрочем, отлившиеся в поэму видения настолько обогатили поэзию, что иные соображения представляются праздными...

7

Арбенин, сходящий с ума, бросает Богу: «Я говорил Тебе, что ты жесток!» — что, ни в какой мере не восприимая Арбенина как алтерэго поэта, заставляет всё же задуматься о системе взаимоотношения Лермонтова с высшими инстанциями...

Произведениям его — лучшим из них — присущи мрачный колорит, сгущение сил и дерзновенная попытка вырваться за пределы реальности: казалось, в памяти Лермонтова бликовали, когда не бушевали, воспоминания, которые не могут быть связаны с земной жизнью.

Недоказуемо? Разумеется...

Но и Демон, нарисованный им, привлекателен, и Арбенин не удосуживается задуматься о напластовании собственных поступков, приводящих к трагедии...

Дальше произвольно вытягивается цепочка размышлений, требующая окончательных ответов, которые невозможно получить: грех, сиречь нравственное нарушение, есть не материальный закон, которого человек не может создать, но полностью подчинён ему; чтобы стало возможным убийство, должна проявиться идея убийства, и эта идея должна быть введена чуть ли не на генетическом уровне в человеческое устройство — в противном случае люди не смогут убивать.

Чьё же это творчество?

И почему человек — столь маленький, мало живущий, мало знающий человек — вынужден расплачиваться за чьё-то неведомое творчество?

Отсюда — богоборчество: ибо как же всеведающая любовь могла творить первоангела, прекрасно зная о грядущем его отпадении и последствиях оногo...

Лютование страстей «Маскарада» — пьесы столь же совершенной поэтически, сколь и психологически изощрённой — заставляет ещё и задуматься о свободе воли...

Арбенин поступает только так, как он может поступать, являясь и продуктом определённой среды, и заложником собственных пристрастий.

Воля, напряжённая внутренними мускулами, не смогла бы утишить страсть к игре, пока не подошёл некоторый рубеж... но и за ним оказалось, что человек не может не играть...

(Попутно возникает вопрос о свободе выбора, якобы существующей в мире, но... человек не может выбрать языковой среды, где он появится, своих родителей, собственный характер — он заложен; из массы занятий человеку придётся выбирать между двумя-тремя, к которым проявится склонность, и так далее...)

Не есть ли «Маскарад», почти завершающийся столь богоборческим восклицанием, мучительная, развёрнутая сценами и картинами попытка докопаться до окончательных ответов на головоломные вопросы?

И не есть ли богоборчество (прерываемое порой эзотерически-световыми перлами, такими как «В минуту жизни трудную...» или «Я, мать божия, ныне с молитвою...») нечто стержневое в гениальности классика?

8

Действительный случай, постепенно оформившийся в анекдот; провинциальный быт, распускающийся цветами онегинской строфы; пенящаяся, пузырящаяся «Тамбовская казначейша» — ах, какая игра!

Мелодика стиха, словно занесённая из поднебесья, тонкие перебивы человеческих взаимоотношений превращаются в не рвущиеся волокна; и бликующие на солнце духа великолепные колонны стихов...

Потом проявится «Ангел смерти», и действие перенесётся на «Златой Восток»: ангел смерти, каким его знают люди, не всегда был таким...

Колорит поэмы тяжёл, и при чтении её не оставляет ощущение знакомства Лермонтова с потусторонней реальностью: знакомства осознанного, а не данного в образе видения, беспокоящего сон.

Но снова чеканный стих звучит такою мелодией, что ассоциируется с движением рек...

Небесных рек.

...аулы, разговоры черкесов, дым костра...

Возникает лермонтовский Кавказ, кажется, совмещавший для него и сны о золотом Востоке, и магию древности, и форму приключений.

Горская легенда, Гарун, бегущий быстрее лани, ярость клокочущего стиха.

Стих свободолюбца!

Лермонтов — в большей мере, чем какой-либо другой поэт — проявлял это качество: свобода, казалось, была его воздухом.

Даже стих его, близкий к совершенству, словно рвался освободиться от собственной сущности, взлететь к чему-то воздушно-бессловесному...

Колоннами вздымаются в мистические небеса три пика лермонтовских поэм «Демон», «Мцыри» и старорусская песнь о купце Калашникова...

9

*Моей души не понял мир. Ему
Души не надо...*

Трагизм Лермонтова — на все времена.

Формула трагизма выпукло светится: предупреждением миру, как письма на пиру Валтасара, — и наше время только укрупняет её: ибо теперь миру надо ещё меньше души.

«Аул Бастунджи» в ряду других кавказских произведений Лермонтова выделяется густой смесью быта и драматизма.

Реальный аул: разрушенный, превращённый в пепел; бытовавшая легенда о братьях, враждовавших из-за жены одного, была известна Лермонтову.

Абрисы гор сереют и чернеют, а когда возвышаются над ними башнеподобные облака, становится ясно противостояние земного и небесного.

Именно от небесного музыка лермонтовских слов, опаловых и перламутровых.

От земного, где ружья кладут в колыбели, где выстрелы столь привычны, как смерть от них — тотальное напряжение поэмы.

...тяжёлые взмывы и зигзагообразные очерки гор, бурки, газыри, курящиеся аулы...

Одного из которых нет.

Хоть он есть навсегда, вписанный в гирлянды, в сочные гроздья лермонтовской поэмы.

10

Кавказ для него был космосом — экзотическим, становящимся родным, дающим гранатовые цвета и легенды.

Гарун бежал быстрее лани...

Мцыри был неистов в бунте своём, в бесконечной жажде окончательной свободы.

Горы вставали конкретно — и так, будто исполнены были мистики, и поэт-мистик Лермонтов прозревал её.

Она зыбилась, проступала сквозь горы таинственными письменами, что фиксировал поэт, преображая ими мир: такой ветхий, такой вечный...

11

Сумрачный колорит, присущий Лермонтову, будто свидетельствует о давней-давней череде жизней, воплощений, опыта...

И впрямь, как может столь молодой человек, прорваться к небесным высотам гармонии, создав гроздь поэтических перлов, грандиозные поэмы и всё остальное; как может он видеть человека так глубоко, как воплощён он в образе, скажем, Арбенина?

Сумрачность, сгущение сил, интенсивность красок.

И — лучевидные лестницы, ведущие к молитвам:

В минуту жизни трудную...

Я, Мать Божия, ныне с молитвою...

Ощущение прикосновения к небу: лёгкое — и вместе погружение в его бездны, столь глубокие, что невозможно противостоять запредельному свету.

Демон — лишённый демонизма....

Полыхающий разноцветно и мужеством молодечества звучащий почти эпос про кушца.

Порыв Мцыри: какова жажда свободы! Понятия недостижимого, но такого манящего.

Кавказ Лермонтова одухотворён; события, происходящие в его ущельях и безднах, трагичны, как почти всё у Лермонтова.

Глобально-трагичны и великолепно-возвышенны — как в стихотворении «Выхожу один я дорогу...», где земля увидена таковой, как она есть, хотя до космических полётов было ещё очень далеко.

И, если вчитываться, вдруг становится ясна такая связь Лермонтова с неизведанным, что иначе, как пророком, его не назовёшь.

НЕВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Эссеистический триптих

Прорежет перспективой реальность словесности, разойдётся широкими альтернативными дугами: ведь литература, в сущности, альтернатива жизни: черпающая из неё, но далёкая...

Кто там?

Приглядимся...

...добрый, застенчивый, тихий, беспечный, идущий за дамой, которая мнится ему воплощённым идеалом, а окажется...

Пискарёв ошибётся: несмотря на всю свою художественную и человеческую привлекательность.

Потом проявится персиянин с опиумом, излом жизни рассечёт действительность повествования, и Пискарёв, найденный с перерезанным горлом, станет символом — проигрыша художника толстому времени.

О! оно толстое в наши дни особенно: когда художникам просто в нём не место.

Но — Невский проспект роскошен: он дан суммою дам в роскошных нарядах: и цвета заиграют пестротой: такую силы, что радуга покажется бедной, он принимает и богатых, сонно зевающих господ, лениво вытаскивающих толстые часы на цепке, чтобы узнать...

Что они знают о времени?

Но уверены, что всё.

Пирогов, как известно, не пойдёт на похороны Пискарёва.

...наглый, самодовольный, уверенный в своём праве: он не задумывается о чём-то более тонком: такого аппарата нет у него: не вчинён в его мозговое устройство.

Сколько вокруг Пироговых: ведь и фамилия: толстая, как пирог с сочной начинкой.

...потом — приглядимся: бледный молодой человек, тень напоминающий, очень чистый: ведь и преступление как будто привиделось Раскольникову, ведь не мог такой человек взяться за топор...

Он проходит Невской перспективой, обдумывая своё: бедный внешне, богатый внутренне, но мир — очень внешний, играющий всем.

Блок, идущий вверх: к пределам запредельности, хорошо знает волшебную эту перспективу улицы, которая ложится в русскую литературу так мощно, будто нет улицы сильнее, ярче, пространнее, светлее...

I. ГОГОЛЬ-ГУГЛ

1

Чичиков главный персонаж «Мёртвых душ» или всё-таки Россия?

Буйная и таинственная, долго запрягающая и несущаяся тройкой, не сделавшаяся за два века понятнее даже самой себе?

Шармёр Чичиков, какой сегодня не воспринимается подлецом — о! ещё бы! В мире товарно-денежных отношений, где вынуждены жить все, его афера тянет скорее на подвиг, сколько бы Гоголь ни разоблачал оную...

Персонажи уничтоженных частей — того, что осталось от них, — играют яркостью не в меньшей степени, чем хрестоматийные Плюшкин и Ноздрёв: чего стоит один Петух с его бесконечной едой; но вот Муразов — миллионер благородного образа мыслей и аскетичного образа жизни — не наполнен кровью реальности: ибо не бывает таких Муразовов в действительности, невозможны они, не совместимы денежный избыток и душевная стройность.

Гоголь-тайна, Гоголь-сказочник — и страшные сказки нависают над нами, то очаровывая, то предупреждая: помните, что случилось с персонажем «Портрета»? Бойтесь денег, художники...

Хотя... как без них-то.

Вьются смыслы, волокна сострадания перевивают вечного Акакия Акакиевича, и грозит он с того света, появляется призраком: не обижайте малых сих! Не трогайте маленьких!

Да всё равно — и обижают, и трогают, и всегда будет так.

Литература никого ничему не учит — особенно в нынешнем мире, когда и сама-то она смотрится архаикой.

Сверкает гоголевский язык: роскошный, несколько не правильный, с самоцветами драгоценных слов, с немислимыми сочетаниями; хлёсткий, кипящий, точно из бездн своих производящий новых и новых персонажей...

Грустно смотрит столь многому учивший нас Гоголь: и через образный строй своих книг, и через «Выбранные места...», каковые, в сущности, и являются третьей — райской — частью «Мёртвых душ»; и через пример истовой и истинной веры своей — недоступной нам, непостижимой в дебрях тайны своей...

Многому учил — да разве нас научишь?

...и вертятся современные Чичиковы, выгадывая и выкраивая, и брешут Хлестаковы, не остановить, и новые господа обижают новых Башмачкиных.

Ибо, как было сказано — «Скучно на этом свете, господа».

2

Чичиков соответствует времени нынешнему — как, вероятно, будет соответствовать почти всем временам: пока человек не изменится физически, не станет другим физиологически, пока он будет оставаться природным буржуа, мещанином, рантье...

Подлинно ли души умирают в недрах тел: ибо именно это, как известно, и имелось в виду?

Но это «иметь в виду» связано с порывами самого Гоголя — высокими, и устремлениями тонкими, куда там лучи Рентгена! Связано с убеждённостью, что жить надобно темой духовного роста, постоянного совершенствования себя, тогда как жизнь хозяйством, как у Собакевича (крепкий, к стати, сильный хозяин), есть вариант внутренней низины, из которой не подняться уже...

Но типажи и образы «Мёртвых душ» совсем не мёртвые, коли взглядеться в окружающий нас человеческий пейзаж: большинство живёт так и, вероятно, будет ещё жить неисчислимые гирлянды веков: свой дом, своя семья, достаток...

Что для человека важнее?

Но Гоголь не хотел оным жить, он рвался в космическую запредельность духа, для него выражавшуюся церковным деланием, он жаждал ухода в иные реальности и — мечтал об усовершенствовании человека.

Россия жрёт.

Спит, играет в карты...

Мчится на бричке — как вариант: но это движение по пути обогащения, а вовсе не полёт в сокровенные пределы духа.

Всё конкретно, смачно, сочно, как гоголевские описания — еды ли, внешности людской, усадебного быта.

Мечтательность — порок, когда даже попытки реализовать мечты не производится: на сцену выходит Манилов, рассуждая о майском дне с именинами сердца.

Скукоженный Плюшкин противоречит тематике обычного русского размаха; но разнообразие людских типажей слишком велико, встречается и такое...

Россия, сильно изменившись внешне, остаётся очень похожей на гоголевскую Русь: и в учреждениях вечно встречаются кувшинные рыла, и аферисты выигрывают в большей степени, нежели люди, занятые устройством собственной души (впрочем, победы последних лежат в плоскости, не подлежащей объективным исследованиям).

Остаётся зайти во дворик и поглядеть на скорбный памятник Гоголю, так точно передающий поздние настроения самого грустного классика...

3

Страшный «Портрет», горящий и горчащий неистовостью предупреждения; «Невский проспект», растворяющий перспективой ступивших на него...

Главная ли «Шинель»?

Такого сгустка сострадания не ведала русская литература — а знала ли мировая?

Как жаль, что, дойдя до вершин, пройдя многими изломистыми и извилистыми тропами, она забыла про феномен оный...

Сострадание... даже снег, кажется, проявляет его по отношению к Акакию Акакиевичу.

Даже снег.

...и идут вереницы таких — слабых, малых, не согретых жизнью: идут среди нас, будто не изменилось ничего...

И сияет феноменальный язык Гоголя, будто собранный из самоцветных камней, вместивший в себя столь многое, что захлебнёшься, пробуя перечислить.

Художественность и боль, выразительность и сострадание: умножение, дающее результат, прободающий время.

Умножение высот, отрицающих низины.

4

«Утро делового человека», как круглая светящаяся призма, показывает лучи-реплики драматургического шедевра... который почему-то не возник.

Крутые, сильно сделанные механизмы гоголевской драматургии работают мощно, несмотря на мох времени...

Задор и мистика «Игроков», превращающие и колоду карт в персонаж.

...Говорит мне зять, Андрей Иванович Пяткин...

И уже неважно, что говорит, ибо представляешь его: круглого, бритого, ленивого...

Собираются персонажи «Женитьбы» — из душистого теста жизни слепленные, великолепно выпеченные; собираются, наполняются начинкой бытия: чтобы навсегда отразиться в нашем.

Вспыхивает фитюлька Хлестаков, да горит криво, смрадно чадя — враньём, тщеславием, неумением концентрироваться на чём-то одном, бесконечным пустозвонством...

Другие собираются: а сколько их вокруг, в жизни: у этого нечто от городничего, у того — от Ляпкина-Тяпкина, у третьего — от того и другого.

А у самого-то?

Всех пробрал Гоголь, всё включил в чудную свою драматургию...

5

Так ли плох Чичиков?

Чичик, щёголь, всегда прекрасно одет, способный поддержать любую беседу, шармёр...

Он вполне потянул бы на героя сегодняшнего дня: но день этот, делящийся годы, давно перевернул понятие о солнце и тьме.

Задуманный подлецом, он и является таковым: с размахом проезжающий в бричке, несущейся, как Русь.

Больно быстро понеслась, замедлить бы...

Недра России — сонные, сытые, с Петрушками и Селифанами, с Коробочками, становящимися государственными людьми.

Не знаю такого помещика, нет такого помещика...

Мощно ест ничему не удивляющийся Собакевич; облако проплывает, и упрятанный в него на века Манилов повторяется из века в век.

Как все они — вечным кружащие хороводом... как Ноздрёв: сколько таких вокруг.

Плюшкин редок: в России так не ссыхаются, но... ведь не пережил смерти жены, ведь после неё стал таким скукоженным, и... что уж теперь.

...небо Италии, выкипающее в синеве золота, так не похоже на небо России, простёртое над бездной земли с бесконечными дорогами и мчащейся вновь и вновь бричкой, в которой сидит подлец, бывший бы сейчас героем...

6

Отчаянно едящая Россия: о! тут Петух забирает верх, держит первенство: тут самый смак процесса, тут жизнь, подчинённая еде полностью: но... с каким восторгом.

Плотно, веско, скучно, основательно употребляющий пищу Собакевич, более порхая — в этом плане — Манилов: и того попробует, и этого отведаёт...

Чичиков, садящийся за стол в любое время и часто-часто чувствующий уже аппетит.

...странное сопоставление: Гоголь, стремящийся идти по пути духовному, Гоголь, чуть ли не умирающий от того, что духовник запретил ему монашескую стезю, — и такое пищевое изобилие...

Но ведь оно — портрет реальности.

...не замечали — еда отвлекает от мыслей?

Пышная и избыточная — вдвойне.

Физиологи утверждают, что самое приятное для человека — есть.
Кто оспорит сие?
Физиология не слушает проповедей...
Гоголь изображал, как было: и смачность, и сила изображения были чрезвычайно велики: врезались в память: не забыть.
Да и не стоит забывать.

7

Еда, заменяющая жизнь, еда, становящаяся фетишем, еда, дарующая эйфорию.
Ломящиеся столы Петра Петровича Петуха, соответствующие аппетиту Чичикова; осетры, поросята, раки, расстегаи, и проч., и проч.
Еда у Гоголя играет сакральную роль: какую действительно играла у некоторых бар России.
У некоторых: представить Плюшкина пирующим невозможно.
Но: неперменная черта Чичикова — это аппетит, ибо в любой час и после всякой закуски он готов обедать.
...так чудно ест и Афанасий Иванович: то грибки, то скородумки, и всё перед обедом.
Почему так?
А потому, что через избыточную привязку к еде, идёт избыточная же привязка к материальной жизни — значит, и душа становится омертвелой, пустой, выхолощенной.
Такая страшная избыточность — хоть и данная с чудесным художественным размахом, вкусом, вкусом...

8

Гугль-Гоголь, Гоголь-Гугль...
Из небесного далёка глядя на мир с доброй, грустной, но и лукавой усмешкой, Гоголь, зная, как функционирует сеть (особенно соблазнов) сознаёт, насколько поделился своею фамилией с будущим, в котором никто не может обходиться без Гугла...
...Иван Иванович никогда не помирится с Иваном Никифоровичем: и ситуации эта настолько типическая, насколько мир, изменившись внешне, мало изменился внутренне.
Чичиков не будет ныне восприниматься подлецом: нормальное желание разбогатеть — что ж поделать, что честно не реализовать оное?
Мы ж в России...
Приятнее взирать на неё из Римского далека: возможно, под тамошним солнцем реже встречаются Хлестаковы и те же Чичиковы, хотя... они всеобщее: анти-достоиние.
Всеобщее: врут везде, аферы крутят, не стремясь к чистоте душевной, не слишком видя разницы между живой душой и мёртвой.
Мёртвая — усохшая, скукоженная, как Плюшкин, не реагирующая на чужую боль — только если на свою обиду.
Мёртвая — до того ещё, как умерло тело.
Много феноменов психики зафиксировал Гоголь, роскошною гроздьё персонажей одарив грядущее человечество; и персонажи эти — в большинстве своём — не менее реальны, чем ваши соседи.
...вон дворовый Ноздрёв снова, захватив куражу в дозе допинга, брешет, размахивая руками...
...вон сладко прожектирует современный Манилов, давно потерявший грань разницы между явью и вымыслом.
И несётся, всё несётся, не останавливаясь, не открывая цели своей, — птица тройка: о которой столько всего можно узнать из Гугла...

II. ДУХОВНЫЙ ДОМ ДОСТОЕВСКОГО

1

...он кажется героем такой чистоты, что преступления будто бы не было.

Раскольников — ступок большой совести, сострадания, желания помогать: неужели обладающий такими качествами человек возьмётся за топор, воплощая выморочную идею...

...этакая всякий пойдёт старушек лущить: человек и развился, когда перестал использовать физическое устранение неприятных ему других и стал пользоваться возможностями слова...

Впрочем, нет — убивали, убиваем и будем убивать: так устроены: не мешай, моя территория...

Но Раскольников убивает не из-за территории, едва ли процентщица так уж мешает ему: он ставит экзистенциальный эксперимент: над собой, над внутренним своим составом: выдержит ли...

Не выдержал.

Ахматова говорила, что Достоевский не знал всей правды, полагая, что убьёшь старушку и будешь мучиться всю жизнь; он не предполагал, что утром можно расстрелять пятнадцать человек, а вечером выбрать жену за не красивую причёску...

Может, предполагал?

Ведь нарисовал же бесов, пользуясь красками гротеска, вообще излюбленными им.

Не только ими: красками правды, предчувствия, постижения реальности и человека в ней...

Раскольников верует буквально: то есть не очень глубоко; Достоевский, используя формулу: до тех пор, пока человек не переменится физически... — предполагал, что такое возможно: значит, видел сквозь плотные слои материальности.

Как видел творящееся в недрах человеческих душ: а там закипает столько всего, что не захочешь, а напёшься...

И пьют у Достоевского, пьют многие; недаром черновое название «Преступления и наказания» — «Пьяненькие».

Пьяненькие, жалкие, вбитые в нищету...

Она хрипит старухой: скученность больших домов противоречит жизни, и опять Мармеладов развивает теорию бессмысленности просить в долг...

А... кто это выходит на сцену?

Крепкий, щекастый, разумеется, Фердыщенко, заставляющий усомниться в том, что воспоминания — ценность.

Ведь ежели хороши, их хочется повторить, когда худые — забыть, отказаться...

Из жизни не вычеркнешь ничего — как из черновика: замечали?

Невозможность отступления увеличивает безнадёжность.

Мышкин проявится, но не в его силах будет изменить мир: оставшийся и после Христа таким же, как был: с насилием государств, войнами, тотальным неравенством, смертью, болезнями...

Люди не говорят, как у Достоевского: тем не менее, его людей — хочется слушать.

Они сбивают речевые пласты напозающими друг на друга структурами, захлёбываясь, спеша...

Всё спешит, всё несётся, мелькает калейдоскоп разнообразнейших персонажей; Карамазовы — это будто один, расчленённый человек, и Иван уравнивает мысль сладострастие отца, который будет убит смердом, смердящим...

Нет людей хороших.

Нет плохих.

Снег падает на городские задворки; всякий человек — и белоснежен внутри, и грязен, как неприглядные задворки эти; Достоевский, показывая человеческое разнообразие, призывал быть терпимее друг к другу, добрее; всегда проводя через мрачные коридоры к астральному свету: надо только почувствовать...

2

Сундук, на котором ребёнком спал Достоевский, можно увидеть в музее, расположенном рядом с больницей, во дворе которой стоит странный, сильный памятник: писатель, словно разбуженный выстрелом... или: выдирающийся из лент небытия к сияющему простору мистического космоса.

Не от утлости ли того пристанища, где пришлось спать ребёнку, — банька с паука-

ми? Потусторонняя тоска Свидригайлова, который уедет в Америку на энергии выстрела?

Страшные колодцы петербургских дворов: в Москве таких нету: недаром Достоевский именовал Петербург самым умышленным городом на свете, когда Москва обладала естественностью простания в явь.

Москва пьяновата и пестровата.

Петербург холоден и строг.

Вам жалко Макара Девушкина?

Ведь он жалок...

А вы сами?

Жалкое — вместе растерянное, детское есть в каждом.

И впрямь: мало живущий, ничего не знающий ни о Боге, ни о том свете человек таков, что его не может не быть жалко.

Но Достоевский провидел тайный свет, и постоянное стремление к оному — важнее даже огромной языковой работы, проделанной классиком.

3

Смертное манит, запредельное влечёт; Кириллов, строящий теории самоубийства, больше вызывает сострадание, чем...

Провинциальная дыра становится вместилищем кошмаров, принимая в себя бесов.

В революции, кроме крови и жертв, Достоевский не видел ничего; и, ожидая кошмарных перспектив, не предполагал общечеловеческого прорыва к свету.

...который знал, как мистическую основу бытия; свет, определяющий жизнь, влекущий, манящий...

4

Суть Достоевского — свет: дорога к оному, прохождение сквозь лабиринты, ради обретения световой гармонии.

Бытует мнение о хаотичности языка классика: это так и нет.

Действительно, Достоевский с неистовостью — точно текст летит над земными препонами — сбивает пласты разных речений: канцеляризм, жаргон, тут захлест всего, мешанина, но — именно такой язык и нужен для построения лабиринта, ведущего к световым просторам, столь редко встречающимся в жизни.

Если бы было иначе, не вышло бы эффекта, и речь на могиле Илюшеньки не прозвучала бы такой чистотой и болью.

Раскольников кажется чистым настолько, что убийство невозможно: будто это развернулись фантазии его.

Но нет — дребезжат детали, громоздится мерзкий быт, выглядывает из щели двери отвратная старушонка.

Мерзкого много, провинциального много, церковных долдонов много.

Страха, страсти.

Мышкину не найдётся места — как не сложится условий для второго пришествия, как невозможно представить условия посмертного бытования.

Достоевский кажется всеобщим братом и всем другом.

И мерцает слезинка ребёнка — вечным предупреждением.

5

Слезинка ребёнка мерцает предупреждением, не услышанным миром.

Не увиденным.

В своей огромности и вечном захлесте страстей мир сносит подобные мелочи — которые так велики сущностью.

В недрах себя каждый согласится с Достоевским, но внешнее организовывается сложно — боль и насилие продолжают созидать мир.

Книги не меняют его.

Но и без книг совсем захлебнулся в несправедливости и прагматизме.

6

Шаржированный Тургенев, представленный Кармазиновым, другим — с точки зрения Достоевского — быть не мог: тут противопоставление двух противоположных форм творчества: бурление, поток, истовость Достоевского и ориентация на конкретный

шедевр у Тургенева.

Слишком разные: и уважительное друг к другу отношение в жизни будто бы ничего не значило.

...бесы клубятся в провинциальной дыре: надо же откуда-то начинать.

К ним не относится Кириллов: как-то криво втянутый (или почти) в их компанию.

Теоретик самоубийства, так глубоко погружённый в себя, что действительность вторична.

Сумрачный колорит: не мог быть другим — вот появляется Шигалёв, глядящий мрачно, рисуемый панорамы грядущего мира: даже не тиранического, а дьявольски искажённого...

Революционеры спародированы?

Нет, методы их слишком претили Достоевскому, не верившему в подобные возможности переустройства общества, думавшему, что слезинка ребёнка...

А мир может меняться только через кровь: как ни ужасно это: назовите хоть одно человеческое значительное свершение, обошедшее без оной...

Мир, меняющийся через кровь, не устраивает классика, заваривающего крутую провинциальную драму.

Пока провинциальную: она выплеснется в глобальный масштаб, исказив всю действительность, меняя её, поднимая одних, низвергая других, ломая души, и...

Всё смешивается в алхимическом огромном сосуде классика, где впервые появляются очевидно плохие, почти без оттенков: Верховенский и проч...

7

Зеркало должно быть огромно, чтобы отразить душу народа; оно будет неровно — и выпукло тою болью, что живёт в ней, и сиять, как сияет свет затаённой надежды.

Суммарный свод книг Достоевского, отшлифованный временем, превращается именно в такое сверкающее зеркало.

...ибо кристалл души Раскольников чист, как у ребёнка; ибо фантом его зловещей фантазии, выданной за интеллектуальное построение, точно проносится мимо: хотя убийство было, этого невозможно отрицать; но накал муки — проедающая сущность героя совесть — так высок, а страдания в заключении столь серьёзны, что и содеянное растворяется в них.

...ибо нового Христа не ждёт реальность, о чём знает прекрасно русифицированный великий инквизитор, но Мышкин, возвращающийся из Швейцарии, всё же хочет проверить возможность родной земли принять новое проявление пророка.

...ибо Карамазовы — точно... не амбивалентность даже, а «расчетверённость» души русской, где Алёша — световой полюс, Иван — интеллектуальный вектор, причудливо изгибающийся, раз не выдерживает умственного напряжения, Митя — ярость страсти и лютей порыв щедрого сердца, а Фёдор — тьма земного пути; сложный суммарный портрет русского бытия ложится отражением в пласт гигантского зеркала, нечто проясняя, ещё больше запутывая многое...

...ибо бесы всегда или часто рдятся в одежды всеобщего благополучия, ни в грош не ставя чужую кровь, не желая проливать свою.

Но — даже и Мака́р Девушкин: жалкий, крошечный, смешной человек есть писк униженного русского естества; тщетный звук мечты о корочке счастья.

...ибо Сонечка Мармеладова найдёт ядовитую сладость в поспание собственного «я» ради жизни близких; а сотворить чудо ради них может каждый.

И все загнутые сложно, с заплесневелыми стенами лабиринты, письма правды проступают на каких сквозь мутные потёки времени, выводят к свету: в этом суть.

Речь на могиле Илюшеньки прожигает сгустками душевных, высших лучей смертный, свинцовый морок яви.

Мышкин оставляет след в живущих — и светится он, призывая к правде.

Даже Фердыщенко, предложивший салонную, пустую игру, подразумевал звенящие струны совести.

...как не современно всё!

Как противоречит технологической, прагматизмом скрученной, целесообразностью напитанной яви.

И — как мощно, верно работает зеркало, отражая прошлое, созидая грядущее.

8

Двойник, Петербург, тёмные лестницы, богатые квартиры, где гудят праздники, требующие великолепия великого художника; Белинский, оставшийся недо-

вольным повестью...

Естественно — её абсурдные изломы, равно как и снежные ночи, где один персонаж встречается другого: себя самого, — были далеки от того разлива реализма, который критик ожидал от молодого тогда писателя.

Титулярный советник!

Сколько их проявилось на русских страницах!

Мелкие и смешные, неудачливые и затерянные в толпе, чудаковатые и несчастные: они представляли собой пёстрые калейдоскопы тогдашних людей; и Яков Петрович не являлся исключением.

Вот он бестолково топчется целый день по делам, сидит у доктора, то отказывается принимать лечение, то соглашается на лекарства; потом бессмысленно перемещается по городу: этому умышленному городу с его архитектурными ущельями...

Впрочем, почему бессмысленно: смысл в том, чтобы встретить себя самого: Якова Петровича Голядкина, свою худшую часть, которая постепенно возобладает.

Однако и хорошая-то не очень хороша: тут даже не маленький человек: а козявка какая-то...

Очень реальная козявка, не отступающая от реалистических правил изображения действительности.

Всё серо-чёрное, мчащееся куда-то; вяло бормочущий двойник, постепенно забирающий жизнь основного персонажа...

В каждом из нас живёт такой — и тут уж ничего не попишешь.

Однако зафиксированного словесно не отменишь, и бегут Яковы Петровичи Голядкины, соревнуясь, бегут, опережая друг друга, не зная, кто победит.

9

Щекаст, но едва ли розовощёк — он выходит на сцену, хотя стоит сбоку, теребя края малинового занавеса...

Он совсем не оптимистичен и заранее просит денег в долг ему не давать; да и фамилия его — Фердыщенко — топорщится нелепо.

Он введён как функция, хотя и выглядит как человек: его миссия: разбередить в вас худое, заставить его показаться, проявиться на свету, дабы стыд прожёт кислотой сознание...

Что такое покаяние?

О! это вовсе не разбивание лба об церковный пол, с последующим повторением всех жизненных гадостей, на какие только вы способны.

Покаяние — это осмысление плохого: с тем чтобы не повторялось оно, отпустило из плена.

И вот тут необходим метафизический Фердыщенко, который обязательно выйдет на сцену, ежели у вас совсем не атрофирована совесть.

Да, разумеется, можно вспомнить многочисленные истории маугли — не того, романтизированного Кипплингом мальчика, но подлинных — сотню или две — росших среди зверей и не имевших представления о совести; но ведь заложена она в нас, впечатана во внутренний состав, только толчки нужны, чтобы проснулась...

Если становится меньше и меньше таких воспитательных толчков, люди деформируются, расчеловечиваясь.

Что и наблюдаем сегодня.

Так, что не хватает Фердыщенко: и помощнее чтобы был, настойчивей требовал исцеляющих воспоминаний...

10

Страшно быть смешным, саднящее постоянное нечто разъедает душу, и сам себя таким считаешь: смешным, нелепым...

Сколько таковых вписано в жизнь: ратоборствовать с реальностью сил не дали, и доказывать ей, что ты не такой, — не получится...

Узел закрутится туго: как на любой странице Достоевского: смертельно затосковавший смешной человек, окончательно решивший убить себя, отогнал криком девочку, подбежавшую к нему на улице с бедою своею, аж тёмшей из глаз; и, придя домой к себе, в пятый этаж, сильно заела совесть смешного...

Мол, тут уже не смешной выходит, а подлый.

Подлый-подлый, весь коричневый внутри, бурый, а бурый — цвет греха.

Выстрел отдалился, настал сон, появилась совсем другая жизнь.

Вот и сознание после смерти, оказывается, живёт: несётся себе среди пространств,

пока не начинает гореть солнце и не открывается солнечный мир: почти как наш, только лишённый всего земного негатива: о! сколько его ныне — в геометрической прогрессии вырос, вот бы поразился смешной-то...

И вот затесавшийся в другую жизнь — без права на это — смешной человек сеет среди идеального своё — негожее, и сеет... как-то сам не желая того: просто ведь не таков, как они, не знающие зла...

А просыпается — с изменившимся лицом и с чётким осознанием, что лучше сеять любовь среди несовершенного мира, чем наоборот...

Суть тут — в изменившемся лице, в осознании, которое делает лицо таковым; а ещё, верно, в том, что надо побыть подлинно смешным — для других — чтобы дорасти до откровения любви.

11

Аркадий Макарович Долгорукий — о себе, о событиях, вовлекших его метафизическим — через земные данности водоворотом; о своей заветной идее...

Она бесхитростна — с одной стороны: стать Ротшильдом; она громоздка и избыточна: утвердиться среди людей, считающих его подростком.

Таков ли он?

Записки наслаиваются, вихрятся, летят; скорость происходящих событий увеличивается, Версиков снова что-то говорит; и снова все — все! — воспринимают Аркадия подростком, каким ему так не хочется быть.

Взросление трудно: во все времена.

Вхождение в жизнь, с необходимостью притираться к ней, приноравливаться ко всем её каверзам и шероховатостям, мучительно...

Разнообразие мук велико, и шкала их никем не рассчитана.

Незаконнорожденный, и при знакомстве, когда узнают фамилию, непроизвольно интересуются: не князь ли?

Много унижений претерпевший в пансионе Тушара, обдумывает жизнь, и, вместе с классиком, вопрос: растут ли после 19 лет?

Растут до конца дней своих и потом — о чём ведал Достоевский.

Жизнь — форма бесконечного роста; хотя земная — кажется просто движением к смерти, с напластованием массы негожего на пути.

Всепримирение идей и всемирное гражданство Версикова есть одна из коренных русских болей: а всевозможного российского «боления» в «Подростке», как и в других машинах Достоевского, много, с избытком.

В России был и Николай Фёдоров — со своими, так толком никем и не понятыми идеями.

Мелькают коридоры, которыми проходит Аркадий: они усложняются, повороты закручиваются, записки растут...

И мерцают, разворачиваясь, поля метафизики: над романом, внутри него; мерцают, втягивая себя — даже ежели и не хочешь.

12

Игра прожигала Достоевского, организуя периоды его жизни, готова почву будущих книг; игра звенела медными дисками в его сознании, взрывалась, вводила реальность из-под ног.

Игра лентами вливалась в роман, и Алексей Иванович повторял зигзаги своего автора, будучи союзным с ним во страсти.

Игра игрока.

Философия ощущений.

Ощущения, обнажённые до кровотокового предела, до тока, сильно бьющего с проводов действительности.

Игра как объект исследования.

Достоевский тяжело изживал свои страсти.

13

На телеге едет в Оптину, готовый созидать словесную гроздь такой силы, что перед ней померкнут предыдущие...

Прощается с жизнью, распределив пять минут, и как много кажется это, как много...

А вот Достоевский, везомый в ссылку: в дичь и боль отношений, в холод, в не прохо-

дящую боль...

Игра, калящая неистово: ночью врывающийся к жене игрок, похищает тальму её, чтобы вновь проиграть...

Неистовство!

Язык, закручиваемый турбулентно, мчащийся лентами самых различных речений: мастеровщины, чиновничества; густейшая плазма людей, собираемая на пяточке каждого пространства; нищие, тараканьей жизнью набитые дома...

И — сострадание ко всем; неистовая бездна сострадания, рубиновые его стигматы, горящие на душе.

Не пройдут.

С «Бедных людей» началось: униженное, жалкое, мелкое...

Маленький человек Достоевского меньше мелкого: и любит, любит его писатель, высказавшийся за всех униженных и оскорблённых.

Едет в Россию русский вариант Христа, возвращается из тихо-комфортной Швейцарии, едет, покуда в сознание одного из чёрным мазанных зреет Легенда.

Легенда, согласно которой Христос не нужен: и без него всё слажено в мире, все соты подогнаны, всё руководство распределено.

Очень актуально.

Никогда не стареет.

И зреют в дрянной щели городишки, гаже которого не придумать, планы по изменению мира: столь же глобальные, сколь и жестокие, зреют, наливаются соком бесы, уговаривают мечтательного тихого Кириллова покончить с собой — с целью.

Мол, ради дела...

Раскалённая плазма достоевских текстов выливается в души — чтобы выжигать всё тёмное, зверовидное, чтобы оставался свет, ибо Достоевский всегда выводит к свету...

14

Она писала об отце, кропотливо восстанавливая его образ; она писала о специфике бытования писателя в общей среде, которую он, преобразуя словесной мощью, должен словно перевоссоздавать — на века, для грядущих людей.

«Великий писатель еле соприкасается с землей, он проводит жизнь в фантастическом мире своих образов. Он ест механически, не замечая, из чего состоит обед; он удивляется, что наступила ночь, и ему кажется, что день только что начался».

Так повествовала Любовь Достоевская об отце: и, словно отдёрнутая дочерью портьера, открывала вход в лабораторию, умноженную на сад; сиятельное место обитания классика, который... ещё не был классиком:

«Никто не мог тогда предвидеть, какое выдающееся положение займет Достоевский позже не только в России, но и во всем мире. Он сам не предугадывал этого. Его начали уже переводить на иностранные языки, но отец не придавал значения этим переводам».

Слава, вызревавшая медленно — в мировую, туго налитую гроздь...

(Впрочем, нынешний, избыточно технологический мир заставляет усомниться, что если спросить многих на улицах Филадельфии или Дублина, получишь вразумительный ответ на вопрос: кто же такой Достоевский...)

Тем не менее, роль, которую сыграл классик в жизни различных социумов, сложно переоценить, и Л.Достоевская, фиксируя многое, метафизически просвечивая разные линии жизни писателя, иногда позволяя себе спорные утверждения, предоставила будущему значительный материал для постижения образа одного из величайших писателей мира.

15

Вместе с братом интересовался учением французских социалистов, увлекался фурьеризмом, мечтая о переустройстве общества, видя, насколько оно пропитано несправедливостью: почти кровотокающей субстанцией...

Михаил Достоевский был творчески зависим от брата: несколько его повестей: «Дочка», «Господин Светёлкин», «Два старичка» и др. — сильно просвечены «Бедными людьми», правда — с большим уклоном в сентиментализм.

Он был одарённым редактором; он болел этим делом, и Страхов писал, что умер

М.М.Достоевский прямо от редакторства...

Он был талантлив: и упоминание о нём в истории русской культуры осталось бы и без колоссальной фигуры Фёдора, тень которого точно укрупняет всех людей, попавших в неё.

...так и Андрей Михайлович — замечательный мастер, ярославский губернский архитектор, спроектировавший и построивший много зданий, — оставил специфические воспоминания: поквартирные.

Так — он решил составить записки обо всей своей жизни: сообразуясь со сменами квартир, словно избрав специфические призмы, сквозь которые рассматривал пройденную им реальность.

Неоднократно прерывал он записки, а после смерти гениального брата предоставил те их части, что относились к детству, первому биографу Фёдора Михайловича — Оресту Миллеру.

...но мемуары потом были закончены: и суммарно дают интересную панораму тогдашней жизни, добавляя вместе с тем штрихи к портрету классика...

III. НАБЕКОВСКАЯ ВЫСЬ

1

Отражения в зеркалах двоятся, троются, и метафизическая тропа, прочерченная между ними, приведёт к неизвестно какому результату.

Одиноким художник, что «вял и толст, как шекспировский Гамлет», не сможет изобрести способ истребления тирана — спасёт только смех, но, сквозь призму его, изломами обозначится признание правителя правителей, столпа солнца.

Бедный, бледный актёр Лик, спустившийся к морю, живущему своею, особенной, таинственной жизнью, избежит от сердечной боли, заговорив ненадолго шип смерти, но вспомнит, что забыл новые белые туфли у нищего дурака-резонёра: человека, бывшего когда-то адским кошмаром его детства; и, пройдя сложным лабиринтом нищих кварталов, найдёт его застрелившимся, посреди убогой комнаты, в новых туфлях...

Два брата — Антон и Густав — воплощение кондовой, мещанской, фашистской пошлости — изведут тощего Романтовского, про которого автор думал, что он поэт, — изведут, а потом убьют несчастного, забавного королька-фальшивомонетчика...

Рассказы у Набокова работают много серьёзнее романов, ибо избыток словесной игры, вмещённый в большое пространство текста, превращает игру эту в самодовлеющее явление, когда оттенки антрацитового бока рояля становятся куда важнее психологических нюансов героя...

Впрочем, и герои вполне себе в рост: с натуральных людей — глядите-ка: снова Годунов-Чердынцев спорит с Кончеевым под огромным деревом, обсуждая поэзию так замысловато, что не всякий рафинированный читатель сразу разберётся.

И всё же рассказы — более концентрированы, насыщены мыслью, и все словесные кучерявости-витиеватости роскошными виньетками обрамляют тёплое, влажное, мерцающее, как богатое набоковское детство, содержание.

Каллы стихов раскрывались нежно — и всегда очень конкретно: как очерчены лепестки этих цветов — с геометрической чёткостью...

Набокову не хватает многого до громады Толстого: всевидения, глобальности, большой совести, или не любимого им Достоевского: всеобщего брата, провидца и мученика, или до кристаллов ясности Чехова, равно как и до взвихрённой, сверхвыразительной стилистически, но порою отступающей от привычной грамотности прозы великодушного Гоголя, — но едва ли кто-то писал по-русски более роскошно, чем Владимир Набоков.

2

Строгие и изящные, что каллы, стихи Набокова, исполненные со свободой полёта бабочки, отчасти оранжерейны: не столько жизнь плещется в них, сколько плетутся литературные тени.

Но как красиво это плетение!

Отблески символизма, покорившего молодого Набокова, и муаровые вспышки акмеизма, где конкретика важнее ощущений...

Или — ощущения и есть основа всего?

Кто сказал, что стихи должны быть наполнены, переполнены, загромождены жиз-

нюю?

Пусть в них играет скрипками и органами литература — так чётче подчёркивается красота всего: каждого момента, бабочки, лета.

И вдруг — раскрываются лепестки боли и отчаяния, показывая сердцевину маленького шедевра:

*Благодарю тебя, отчизна,
за злую даль благодарю!
Тобою полн, тобой не признан,
я сам с собою говорю.
И в разговоре каждой ночи
сама душа не разберёт,
моё ль безумие бормочет,
твоя ли музыка растёт...*

Ибо таинственный рост музыки и есть сущность всякого стиха — музыки, обогащённой смыслом, умноженной на реальность, известную писателю и только ему.

И вдруг — ритмы ломаются: «Кубы»... Кубизм раскалывает реальность собственными видениями, предлагая трактовку яви:

*Сложим крылья наших видений.
Ночь. Друг на друга дома углами валяются.
Перешиблены тени.
Фонарь — сломанное пламя.
В комнате деревянный ветер косит
мебель. Зеркалу удержать трудно
стол, апельсины на подносе.
И лицо мое изумрудно.*

Чёрный бархат стихов Набокова!

Узоры на шёлке таинственно мерцающих текстов...

Тайна в нежность окрашенных, вспыхивающих сложно составленными огнями слов.

Красиво.

Очень красиво.

Без красоты мир не просуществует и дня.

3

...не зря же малевали дёгтем на стене призыв голосовать за список такой-то!

Братья, один из которых — Густав — ляпнул ножом бедного, смешного Романтовского: королька, фальшивомонетчика, оказавшегося таковым противу надежд автора на то, что он замечательный поэт, в силу бедности вынужденный жить в чёрном квартале; а до того убил каменотёса, — в скором времени стали фашистами...

О! Они, целиком сделанные из говядины и пива, никогда не дружившие с мыслью и всячески мечтавшие о потной сытости целого мира, только заслышав о появлении Адольфа, изошли восторгом...

— Наконец-то! — потирал крупные, со сбитыми от драк костяшками лапы Густав...

— Теперь покажем всем этим музыкантишкам! — вторил шербатылицей Антон.

Густав всё ещё работал на мебельном складе, хотя так и не накопил денег на жеманку на Анне, покупку буфета, ковра; Антон, достаточно набездельничавшись, навалившись на бережку, устроился, наконец, грузчиком на ближайший склад и, таская, что скажут, смоля сигарки в перекурах с такими же, как он, ражими хлопцами, судачил с ними же:

— Это вам не те, кто бывал раньше. Адольф! Он теперь всё перевернёт! Ха-ха... Мы им покажем!

И неопределённо грозил кулаком, вечно жаждущим чьей-то плоти...

По вечерам шли они, окончившие честную, потную работу, в дружественное кафе, лопали жареное мясо, картофель, тянули пиво, удовлетворённо рыгали и, глядя друг в друга, посмеивались: мол, теперь-то уж...

Агитировали, как могли.

Наконец Густав, неожиданно, не сказав ничего брату, отлучившийся неизвестно куда, вернулся гордый и заявил:

— Я вступил в ряды. Буду в партии работать. Всё равно кем.

Антон аж приседал от восторга, хлопая себя по крепким бёдрам.

— Ну ты даёшь, брат. Вот это да...

Курили на балконе, глядя на чахлые топольки, обломки бочки, фрагменты распавшегося тележного колеса.

Потом записался и Антон.

Это было их родное: наглое, конкретное, грохочущее, страшное, грозящее смести всё тонкое, зыбкое, поэтическое, высокое...

...они должны были даже подняться там: в партии: Антон, скажем, по лестнице гестапо, преуспев в попытках и особенно усердствуя в плане евреев; Густав тоже где-нибудь...

Они узнали и других наци: восторгались Геббельсом: как говорит! и всё по делу! — Гиммлером: правильно, дави всех, кто против! Побольше лагерей надо, чтоб всю шваль уместить! — и так же рьяно пили пиво в разных — теперь все были дружественными — кафе.

Братья непобедимы.

Они бессмертны как образ человеческой пошлости и низости, помноженный на физическую, непонятно зачем даденную таким силу.

И предчувствие фашизма: лютое, но и щемящее, злое и окрашенное в тона пожара разлито в рассказе Набокова «Королёк», который наверняка мог бы продолжиться вот такой житейской историей...

4

Два варианта отношения к детству: утраченный волшебный рай, как у Набокова, или — школа неуверенности, как у Бродского.

Конечно, варианты слишком разнятся, чтобы можно было найти общие линии: в первом случае хочется вернуться, чтобы остаться там навсегда (кто ж добровольно из рая-то бежит?), во втором — поскорее уйти и забыть.

Одно из косвенных доказательств того, что бытие определяет сознание, в то время как сознание влияет на него довольно слабо, если как-то влияет вообще: роскошное, барское, предельно тёплое и пёстрое детство Набокова, и коммунальный, полунищий кошмар, выпавший на долю Бродского.

Если бы у второго вместо полутора комнат в коммуналке было бы поместье, и воспоминания были бы другими.

Но и коммуналка может давать образ рая — вспоминаешь свою, где довелось прожить десять лет; чудный, сперва опущенный, потом заснеженный двор; огромную ёлку, что везли на санках, и пружинили её чёрные лапы...

Никогда ни свар, ни склок — отношения вполне добрососедские.

Или — память после пятидесяти сдаёт и плохие картины не допускает для обработки сознанием?

Кто знает...

Тем не менее, думается, только два полюса восприятия детства возможны: рай, и... поскорее уйти.

5

Каллы стихов Владимира Набокова вращены умело и, красиво встроенные в российский поэтический космос, мерцают холодновато-медовым огнём...

Всего избыточно совмещается в набоковском мире: за волшебником, проходящим в расшитой звёздами и полумесяцами мантии, оживают камешки на побережье; а умерший коллекционер бабочек отправляется дальше Мадагаскара за редкими экземплярами...

Кажется, рассказ более соответствовал причудливо-изогнутому, изошрённому мастерству Набокова: роман всё же должен вдвигаться в пространство действительности большею силой, чем может предложить бесконечный бисер слов, сколь бы красиво он ни был организован и рассыпан по страницам.

«Игра в бисер», безусловно, была чужда Набокову, хотя сам играл отменно — затмил бы Йозефа Кнехта легко.

А вот в «Истреблении тиранов» плотная фактура исследования феномена власти, данная с такой же стилистической изошрённостью, как во всех набоковских вещах, великолепна: хоть и не просматривается выход; не смех же, право слово, считать тираноборцем...

Но какова крутизна чёрной лестницы и бессмыслица железной жажды, показанные им в рассказе: дух захватывает от плотных панорам гипотетической жизни властителя.

И совершенно феноменально показано зарождение фашизма в рассказе «Королёк» — тут язык якобы проще, нет того космического, невероятного словесного витья, а персонажи, наплывающие на читателя, Антон и Густав, нуждаются только в смене одежды на форму СС...

Всякое насилие ненавистно: насилие, ксенофобия, чрезмерное почтение к богатым: от этих милых штук дорога к торжествующей массе фашизма прокладывается быстро: народ не успеет заметить как.

Эстетизм Владимира Набокова носил этический окрас: вне поля эстетики не может быть ничего высокого, благородного, чистого, светлого...

У него много героев: самых разных: стержневых, проходных; часто эпизодические (как в финале «Дара», где внушительный паноптикум собирается на заседание литераторов), и все они представлены с такой яркостью, что увидишь их отчётливее, нежели собственного соседа.

Однако глобальных образов — вровень с Чичиковым и Раскольниковым — нет: не хватает чего-то: на волос, может быть, отделяющего от подобного воплощения.

В «УльтимаТхуле» даются рассуждения о сущности вещей — читай: мира — с таким софистическим блеском, что кажется, Набоков разгадал тайну самого главного: однако — софистика оставляет за бортом возможность разгадки; и грустно становится, печально...

Много печали, много бодрости: того и другого в книгах Набокова; избыточно фантазии и деталей мира, всегда увиденных так, как не видел никто.

Мнится, и прочая литература ему была не очень нужна: ему, громоздившему свой дворец; роскошный, пусть с некоторыми изъятиями, но... чего не бывает при таком размахе строительства!

6

Бесконечное витьё словес у Набокова: красивое, изощрённое, дающее столько деталей, открытий, иногда и откровений: там, где не ждёшь.

Предельная концентрация, сгущение прозы Платонова: противоположной.

Таких каменных либо из глины сделанных людей Набоков не знал и знать не хотел...

Барин, учёный, эстет, интеллектуал.

Рабочий, мелиоратор, прогрызающий словарь ради волшебных глубин, которые непременно должны открыться.

Живые люди у Набокова.

У Платонова...

Кто вообразит всех этих Големов из бесконечного, чудовищного, завораживающего Чевенгура?

Паровозы становятся действующими лицами, как бабочки у Набокова...

Тонкость есть и у Платонова, но больно соединённая с тяжестью земной.

Разные темы, противоположное звучание; чрезмерная прихотливость вредит Набокову, как Платонову избыточное погружение в гушь народной плазмы.

Она таковой и была, но сейчас плохо представляется.

Феномен языка и у того, и у другого: чрезмерного языка, дающего из лучших вариантов стилистик двадцатого века.

7

Стягиваются линии, зацветают слова, распускаются каллы.

Тиран для того и существует, чтобы попруть последние, вытаскивая из человеческих глубин всё худшее: раболепие, страх, тупую покорность.

Как истребить?

Неистовством смеха или изощрённым витьём фраз, часто концентрирующихся на красоте окружающего мира — в ущерб общему замыслу?

Нет! У Набокова всё подчинено логике повествования: неумолимой, как рок.

И цветистость, с которой преподносится убогая жизнь тирана: пока не спрятали её за стены замка, только подчёркивает пошлость человечества, допускающего такую власть.

В пандан «Истреблению тиранов» существует «Королёк» — и дьявольские стяги фашизма маячат на заднем плане.

Братья, конечно, вступили бы в партию: они подходят ей: безмысленные, тупоголовые, рьяно ржущие, обожающие пиво; на их фоне и фальшивомонетчик — герой.

Братья...

Распадаются звенья, мерцает «Адмиралтейская игла».

Она мерцает остро, собирая разнообразные детали: как жаден до них Набоков: ни одну не упустить, вдруг упущенная окажется самой важной!

Как неистово он строит, выписывает свой мир: повторить невозможно, только быть

втянутым в его водоворот...

Какие загадки закручивает рассказ «УльтимаТхуле» — кажется, вот-вот за нагромождением софизмов проступит наконец необходимейшее, такое важное, открывающее суть: но — распутайте их, окажется сплошная пустота...

И как жалок Илья Борисович — обеспеченный человек, бездарный сочинитель, как жалок, как страдает ему высоколобый, холодно-надменный мастер формы и сути — писатель Набоков...

8

Феномен цветового восприятия литературы не объяснить, он недоказуем, но достаточно перечитать книгу рассказов Набокова «Весна в Фиальте», чтобы убедиться в реальных связях текста и цвета.

Всё переливается лилово, играет фиолетовыми оттенками, то смутло мерцает лилым золотым, то льётся лепной небесной синью.

Всё пронизано игрою — но всерьёз, смертельно, как в «Корольке», где язык проще, чем в «Истреблении тиранов», и вместе — не менее живописен: только вместо масла используется гуашь.

Но любой, появившийся на страницах Набокова, персонаж оживает тотчас: и Романтовский, гипотетический нищий поэт, оказавшийся фальшивомонетчиком, почти что равен омерзительнейшим братьям, на плечах которых громоздится будущий фашизм.

Чем страшна тирания?

Многим, но среди прочего и тем, что пробуждает худшее в человеке, и провинциальный учитель рисования, задумавший одолеть тирана, рассчитывает на энергию мысли, способную разваливать ложные миры.

Каждая улочка, выливающаяся из любого рассказа, солнечно оживает или падает в глубину траурной пустоты; каждый автомобиль (красный автокар из фантазмагорического «Посещения музея», к примеру), словно проезжает перед вами, храня свою начинку так, что и она становится очевидно реальна.

Есть мистический рассказ среди всего набора — «УльтимаТхуле», где внезапно пораженный истиной, ставший равнодушным к жизни торговец выстраивает диалог с желающим на манер площадного софиста, иногда приоткрывая фразами такое, отчего не может не захватить дух...

...и всё же главное — ощущение избыточного, невероятного цвета, идущего от рассказов; ощущение сложно объяснимое и такое реальное, что пренебречь им не удастся.

9

Роман-скандал, роман о запретной любви, роман — словесная симфония, роман о Ло...

Ло

Ло

Ло...

Лесенка спускается вниз, язык несётся в запредельные вершины.

Хорошо ли сделаны Гумберт и Лолита?

Совершенно неважно: важны завихрения фраз, их повороты, их комбинации; важны предметы, возникающие внутри повествования, бабочки эпитетов, причудливые жуки метафор.

Важно волхвование, словесное волшебство, алхимические сосуды слов, предложенные миру.

Набоков (представляется) гуще и плотнее раскрывался в рассказе: роман — в традиционном русском понимании — требует большой идеи, осмысления истории или построения персонажа как отдельной, великолепной истории (Обломов, например), а Набоков — щёголь и чародей — всего этого терпеть не мог.

Мешало частному предпринимательству его языка: приносившему немислимые дивиденды языковой красоты.

Была в ней гармония?

Сложно сказать — избыток цвета и причудливости мешают: но до чего же увлекательно следить за тончайшими извивами и поворотами словесных каналов...

Впрочем, дребезжаще-раздёрганная мотельная цивилизация показана крупно, выпукло, и едва ли она по нраву Набокову: аристократу, барину: в том числе — литературному.